

**Томас  
Бернхард**



**Бетон**

**роман**

**Ad Marginem**

Томас Бернхард

**Бетон**

«Ад Маргинем Пресс»

1982

УДК 821.112.2(436)

ББК 84.4(4Ав)

## **Бернхард Т.**

Бетон / Т. Бернхард — «Ад Маргинем Пресс», 1982

ISBN 978-5-91103-638-6

Роман «Бетон» был написан Томасом Бернхардом (1931-1989) в 1982 году на одном дыхании: как и рассказчик, автор начинает работу над рукописью зимой в Австрии и завершает весной в Пальма-де-Майорке. Рассыпав по тексту прозрачные автобиографические намеки, выставив напоказ одни страхи (животный страх задохнуться, замерзнуть, страх чистого листа) и затушевав другие (бедность, близость), он превратил исповедь больного саркоидозом героя в поистине барочный фарс, в котором смерть и меланхолия сближаются в последней пляске. Можно читать этот безостановочный нарциссический спич как признания на кушетке психоаналитика, как типично австрийскую логико-философскую монодраму, семейный роман невротиков или буржуазную историю гибели одного семейства, главной темой всё равно остается музыка. Книга о невозможности написать книгу о композиторе Мендельсоне — музыкальное приношение Бернхарда модернизму, ставящее его в один ряд с мастерами «невыразимого» Беккетом, Пессоа, Целаном, Бахман. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.112.2(436)

ББК 84.4(4Ав)

ISBN 978-5-91103-638-6

© Бернхард Т., 1982

© Ад Маргинем Пресс, 1982

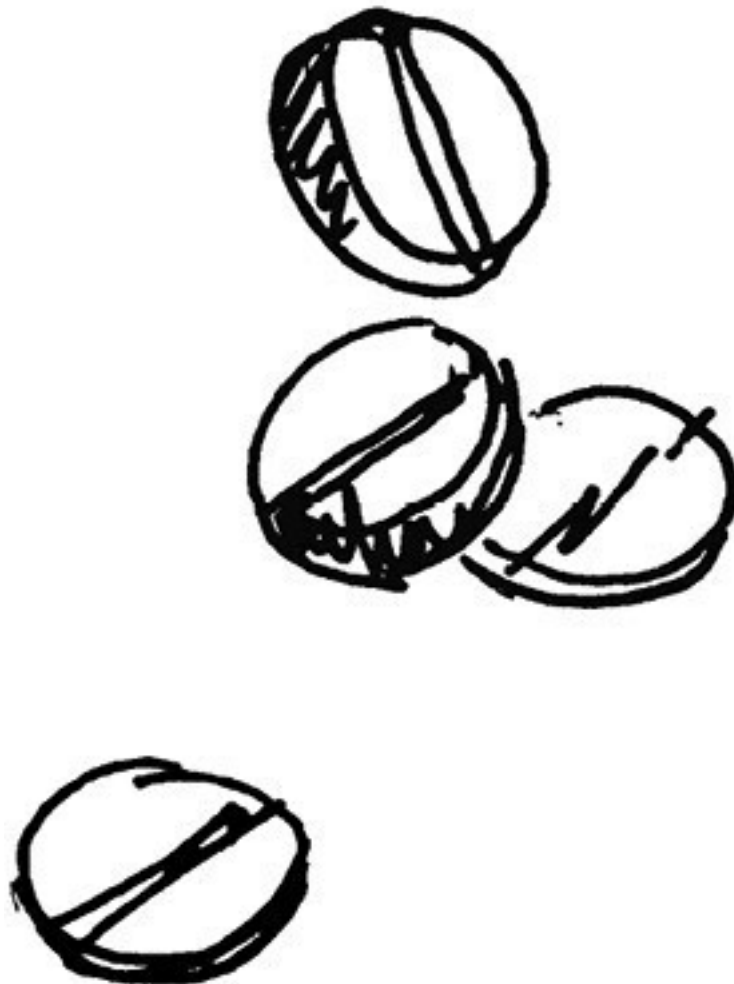
# Томас Бернхард

## Бетон

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1982

All rights reserved by and controlled through Suhrkamp Verlag Berlin.

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2023



С марта по декабрь, пишет Рудольф, когда я был вынужден, замечу, принимать большие дозы преднизолона от обострившегося в третий раз *саркоидоза*, я собрал все мыслимые и немыслимые книги и статьи, написанные Мендельсоном и о Мендельсоне, посетил все мыслимые и немыслимые библиотеки, чтобы досконально изучить любимого композитора и его творения, и, со всей страстной серьезностью подойдя к такой задаче, как написание обширного и академически безупречного труда, который вызывал у меня сильнейший ужас всю предыдущую зиму, намеревался изучить все эти книги и статьи самым тщательным образом и, наконец, после досконального исследования, которого заслуживает предмет, двадцать седьмого января ровно в четыре часа утра приступить к этому самому труду, который, как я полагал, значительно превзойдет и затмит всё опубликованное и неопубликованное из ранее написанного мной в области так называемого музыковедения, – к труду, который я планировал в течение

десяти лет и каждый раз останавливался в шаге от осуществления задуманного, но теперь рассчитывал приступить к нему после намеченного на двадцать шестое число отъезда моей сестры, чье затянувшееся присутствие в Пайскеме губило даже самую робкую попытку погрузиться в работу о Мендельсоне. Вечером двадцать шестого, когда она все-таки отбыла, избавив меня наконец от своей мнительности, порожденной болезненным властолюбием и изводящей ее саму, а с другой стороны, изо дня в день возвращавшей ее к жизни, от недоверия ко всему и вся, и прежде всего ко мне, отсюда-то и весь кошмар, я несколько раз со вздохом облегчения прошелся по дому и тщательно его проветрил и, наконец, учитывая тот факт, что на следующий день наступит двадцать седьмое, начал готовиться к осуществлению своего плана: разложил книги, статьи, горы заметок и бумаг – всё, что было на моем столе, в точном соответствии с теми правилами, которые я всегда считал неременным условием для начала работы. Нам необходимо остаться в одиночестве, быть всеми покинутыми, если мы собираемся погрузиться в интеллектуальный труд! Как и следовало ожидать, после приготовлений, занявших у меня более пяти часов, с половины девятого вечера до половины третьего утра, я не спал всю оставшуюся ночь, главным образом мучаясь от мысли, что сестра может по какой-то причине вернуться и погубить мой план, в ее состоянии она способна на всё: малейшее происшествие, малейшая помеха, говорил я себе, и она прервет поездку домой, развернется и вновь заявится сюда, неоднократно случалось так, что я провожал ее на венский поезд и расставался с ней, как я думал, на месяцы, а она возвращалась через два или три часа, чтобы остаться в моем доме сколько вздумается. Я всё лежал без сна и то прислушивался, не стоит ли за дверью сестра, то снова думал о своей работе, особенно о том, *как* начать эту работу, какой будет первая фраза, потому что я всё еще не решил, каким должно быть это первое предложение, а если я не способен сформулировать первое предложение, никакую работу я начать не в силах, так я и мучился, то прислушиваясь, не вернулась ли сестра, то думая над первой фразой о Мендельсоне, снова и снова я в отчаянии прислушивался, и снова и снова, так же отчаянно, думал над первой фразой о Мендельсоне. Почти два часа я одновременно думал о первой фразе моей работы о Мендельсоне и прислушивался, не вернулась ли сестра, чтобы уничтожить мою работу о Мендельсоне еще до того, как она вообще начата. Но так как я всё напряженнее вслушивался в тишину, боясь, что сестра вернулась, и в то же время думал о том, что *если* она действительно вернется, то неминуемо погубит мою работу о Мендельсоне, и о том, какой будет первая фраза моей работы о Мендельсоне, в конце концов я, от усталости должно быть, всё же задремал. Когда я в испуге очнулся, было уже пять часов. Я хотел начать работу в четыре часа, а сейчас уже пять, я был потрясен этой непредвиденной небрежностью или, скорее, собственной недисциплинированностью. Я встал и завернулся в конскую попону, которая досталась мне по наследству от деда по материнской линии, и затянул на себе попону кожаным ремешком, который, как и попонка, тоже достался мне от деда, так туго, что едва мог дышать, и сел за письменный стол. Было еще совсем темно. Я убедился, что в доме я действительно один, ничего, кроме собственного сердцебиения, я не слышал. Запил стаканом воды четыре таблетки прописанного мне терапевтом преднизолона и разгладил лист бумаги, лежавший передо мной. Я успокоюсь и начну, сказал я себе. Я несколько раз сказал себе: я успокоюсь и начну, но, после того как я сказал это раз сто и просто уже не мог остановиться, твердя это снова и снова, я сдался. Моя попытка провалилась. В предрассветных сумерках я уже не мог приступить к работе. Рассвет окончательно разрушил мою надежду. Я резко встал из-за стола. Спустился в холл, надеясь там, на холоде, успокоиться, так как, целый час просидев за письменным столом, я впал в состояние почти сводящего с ума возбуждения, которое было вызвано не только умственным напряжением, но и, чего я опасался, преднизолоном. Я вжал обе ладони в холодную стену, проверенный способ справиться с таким возбуждением, и в самом деле успокоился. Я осознал, что поглощен фигурой, способной меня уничтожить, но всё-таки надеялся, что смогу хотя бы начать работу этим утром. Это был самообман: несмотря

на то, что ее уже не было в доме, в каждом углу я ощущал присутствие сестры: существо, более враждебное любому проявлению духа, трудно себе представить. Одна только мысль о ней уничтожает во мне всякую способность мыслить, она всегда губила всякую мысль во мне, душила в зародыше все мои интеллектуальные начинания. Сестра уже давно уехала, но всё еще удерживает меня в своей власти, думал я, плотно прижимая ладони к прохладной стене. Наконец я нашел в себе силы оторвать руки от холодной стены и сделать несколько шагов. Я потерпел неудачу и в намерении написать что-нибудь о *Енуфе*, это было в конце октября, незадолго до того, как сестра появилась в моем доме, сказал я себе, теперь же я терплю неудачу с Мендельсоном, терплю неудачу даже теперь, когда моей сестры нет рядом. Я даже не закончил заметку *О Шёнберге*, она уничтожила ее во мне: сначала она погубила ее во мне, а потом уничтожила окончательно, зайдя в комнату в тот самый момент, когда, полагал я, мне почти удалось завершить эту заметку. Но от такого человека, как моя сестра, нельзя защититься, она одновременно так сильна и так враждебна любому проявлению духа, она приходит и уничтожает всё, что ум создавал месяцами в безумном напряжении, даже *перенапряжении* памяти, чем бы это ни было, даже коротким наброском на самую пустяковую тему. И нет ничего более хрупкого, чем музыка, в которую я по-настоящему всецело погрузился в последние несколько лет, сначала предался музыке на практике, затем погрузился в теорию, сначала истово музицировал, затем отдался теории, но моя сестра и все подобные ей люди, чье непонимание преследует меня днем и ночью, губит все мои планы, она уничтожила мою *Енуфу*, моих *Моисея и Аарона*, мой очерк *О Рубинштейне*, мою работу *О Шести*, всё и вся, что для меня свято. Это ужасно: едва я созреваю для исследования музыки, как внезапно является моя сестра и всё губит. Как будто она все силы бросает на то, чтобы погубить мой интеллектуальный труд. Как будто, находясь в Вене, она чувствует, что здесь, в Пайскаме, я вот-вот приступлю к какой-то теме, и когда я хочу заняться этой темой, она появляется и губит ее. Окружающие существуют только затем, чтобы выследить дух и уничтожить его, они чувствуют, когда разум созрел для мыслительного усилия, и появляются, чтобы пресечь это мыслительное усилие в зародыше. Такова не только моя сестра, несчастная, злобная, подлая женщина, подобных людей legion. Сколько статей я начал, а потом, из-за того что внезапно являлась сестра, сжег. Бросал в печь в момент ее появления. Никто не спрашивал так часто, как она: *я не помешаю?* какая насмешка, когда эта фраза постоянно звучит из уст человека, который только и делает, что мешает и будет мешать, и смысл жизни которого, кажется, только и заключается в том, чтобы нарушать ход чужой жизни, всем и каждому мешать и тем самым *разрушать* и, в конце концов, уничтожать, снова и снова уничтожать то, что для меня, кажется, важнее всего на свете: *интеллектуальный продукт*. Даже когда мы были детьми, она пыталась помешать мне при каждом удобном случае, изгнать меня из моего, как я тогда это называл, интеллектуального рая. Если у меня в руках была книга, она преследовала меня до тех пор, пока я не откладывал книгу, она ликовала, когда я в ярости швырял ей эту книгу в лицо. Я отчетливо помню: когда я раскладывал на полу географические карты, страсть всей своей жизни, она мгновенно появлялась, пугая меня, из укрытия за моей спиной, и вставала как раз на то место, на котором я сосредоточил всё внимание, туда, где я раскинул любимые страны и части света, чтобы наполнить их детскими фантазиями, я видел лишь ее внезапно и зловеще возникшую ступню. Лет в пять-шесть я часто уединялся в нашем саду с книгой, однажды это был, я отчетливо помню, голубой томик стихов Новалиса из библиотеки деда, в чтении которого, отнюдь не всё понимая, я черпал послеполуденное счастье воскресного дня, час за часом, пока сестра не разыскала меня, не выскочила с воплем из кустов и не вырвала книгу Новалиса у меня из рук. Наша младшая сестра была совсем другой, но она уже тридцать лет как умерла, и нелепо сейчас сравнивать ее, болезненную и больную, наконец, умершую, с той, что неизменно здорова и властвует надо всем и вся. Даже муж выдержал ее всего два с половиной года, потом ускользнул из ее объятий в Южную Америку, в Перу, чтобы больше никогда к ней не возвращаться. Всё, к чему она

прикасалась, она губила, и всю жизнь она пыталась уничтожить меня. Сначала неосознанно, потом осознанно, она делала всё для того, чтобы меня уничтожить. Вплоть до сегодняшнего дня мне постоянно приходилось защищаться от этой присущей сестре неудержимой тяги к уничтожению, и я даже не знаю, как мне до сих пор удавалось спастись. Она приезжает, когда захочет, уезжает, когда захочет, делает, что захочет. Она специально вышла замуж за брокера по недвижимости, *чтобы* отправить его в Перу и захватить весь его бизнес. Она деловой человек, уже в детстве в ней проявилась склонность травить всё интеллектуальное и, как следствие, приумножать материальное. Я не мог поверить, что у нас одна мать. Сестра уехала почти сутки назад, но продолжала властвовать надо мной. Я не мог от нее освободиться, отчаянно пытался, но не мог. При одной мысли о том, что она по сей день ездит в спальном вагоне только со своими простынями, меня охватывает ужас. Я три раза открывал окна, проветривал дом до тех пор, пока он не превратился в ледник, в котором я рисковал замерзнуть насмерть; если сначала я боялся задохнуться, теперь меня пугала мысль о том, что я замерзну. И всё из-за сестры, под гнетом которой я всю жизнь рисковал задохнуться или замерзнуть. В самом деле, она валяется в постели в своей венской квартире до половины одиннадцатого утра и выходит не раньше половины второго, чтобы поесть в *Имперiale* или *Захере*, где она режет свой тафельшпиц и потягивает розовое вино с опустившимися князьями или заключает сделки со всеми мыслимыми и немыслимыми императорскими величествами. Меня тошнит от ее образа жизни. Даже в день отъезда из Пайскама она оставила свою комнату совершенно неприбранной, так что мне заранее стыдно за это зрелище перед фрау Кинесбергер, которая уже десять лет наводит порядок в этом доме и будет здесь только в следующие выходные; вещи лежали вперемешку, тремя большими кучами, одеяло валялось на полу. Несмотря на то, что, как я сказал, я уже три раза проветрил в доме, в комнате по-прежнему стоял запах сестры, ее запах буквально пропитал весь дом, мне тошно от этого запаха. Моя младшая сестра тоже на ее совести, я часто думаю об этом, потому что та тоже постоянно испытывала страх перед старшей, а в последние часы, возможно, это был просто смертельный ужас. Родители зачинают младенца, а производят на свет монстра, потому что всё, что с ним соприкасается, гибнет. Однажды я писал статью о Гайдне, не Йозефе, Михаэле, как вдруг явилась она и выбила у меня из руки перо. Я не успел дописать статью, она была погублена. *Я только что погубила твою статью!* – вскричала она в восторге, подбежала к окну и выкрикнула в воздух эту дьявольскую фразу еще несколько раз – *Я только что погубила твою статью! Я только что погубила твою статью!* С таким ужасным вторжением мне было не справиться. За столом она губила любую едва завязавшуюся беседу, она прерывала ее или внезапным смехом, или вставляя крайне глупое замечание, не имевшее никакого отношения к разговору. У отца лучше всех получалось ее усмирять, но мать она безжалостно себе подчинила.



Когда хоронили нашу мать и мы стояли у могилы, сестра с вопиющей черствостью произнесла себе под нос: *Она убила себя, она просто была слишком слаба для жизни. Кто-то силен, а кто-то слаб* – это были ее слова, прежде чем мы покинули кладбище. Но я должен освободиться от сестры, сказал я себе наконец и вышел во двор. Я глубоко вздохнул, что сразу же вызвало приступ кашля, тут же вернулся в дом и, чтобы не упасть в обморок, был вынужден сесть в кресло под зеркалом. Медленно я стал приходить в себя от холодного воздуха, заполнившего легкие. Я принял две таблетки глицерина и четыре преднизолон. Спокойно, спокойно, говорил я себе, разглядывая шероховатый рисунок пола под ногами, линии жизни лиственницы. Это медленное разглядывание вернуло мне равновесие. Я осторожно встал и вернулся на второй этаж. Вероятно, теперь мне удастся приступить к работе, думал я. Но как только я сел, я вспомнил, что еще не завтракал, я встал и спустился на кухню. Я достал из холодильника молоко и масло, поставил на стол английский джем и отрезал себе два ломтика булки. Поставил на огонь чайник и сел за стол, приготовив всё для завтрака. Но мысль о том, что я должен есть масло, которое достал из холодильника, и хлеб, который вытащил из ящика стола, угнетала меня. Я сделал один-единственный глоток и вышел из кухни. Мне было невыносимо каждый день завтракать с сестрой, а теперь я не мог завтракать один. Мне было отвратительно завтракать с сестрой, так же как теперь было отвратительно есть одному. Ты снова один, ты снова один, радуйся же! – говорил я себе, но несчастье не проведешь столь неуклюжими уловками. Так запросто и бесцеремонно несчастье не подменишь счастьем. Да и не могу я начать труд о Мендельсоне на сытый желудок, подумал я, если и начинать, так только на пустой. Желудок должен быть пуст, если я берусь за интеллектуальный труд, подобный моему труду о Мендельсоне. И действительно, я всегда начинал такую работу, как эта о Мендельсоне, натощак, а не с набитым животом. Как только я мог подумать о начале работы после завтрака! – сказал я себе. Пустой желудок стимулирует мышление, полный желудок сковывает его, душит в зародыше. Я поднялся на второй этаж, но не сразу сел за письменный стол, а остановился и посмотрел на него с расстояния где-то восьми-девяти метров через открытую дверь своей девятиметровой комнаты, прежде всего чтобы убедиться, всё ли в порядке на столе. Да, всё на месте, сказал я себе. Всё. Я рассматривал всё, что находилось на моем столе, неподвижно, беспристрастно. Я смотрел на письменный стол до тех пор, пока, так сказать, не увидел со спины самого себя, я видел, как, из-за болезни, я сутулюсь, когда пишу. Я видел, что у меня искривленная осанка, но я ведь не здоров, я болен до мозга костей, сказал я себе. Ты сидишь так, сказал я себе, будто у тебя уже написано несколько страниц о Мендельсоне, вероятно, десять

или одиннадцать, именно так я буду сидеть за столом, когда напишу десять или одиннадцать страниц, сказал я себе. Я стоял неподвижно и рассматривал свою спину. Эта спина – спина моего деда по материнской линии, подумал я, примерно за год до его смерти. У меня такая же осанка, сказал я себе. Не двигаясь с места, я сравнивал свою спину со спиной деда, при этом я вспомнил одну фотографию, которая была сделана всего за год до его смерти. Человек духа внезапно скован такой болезненной позой и вскоре умирает. Через год, подумал я. Потом эта картина исчезла, я больше не сидел за своим столом, за столом было пусто, лист бумаги на нем был по-прежнему пуст. Если я подойду к столу и начну прямо сейчас, у меня наверняка получится, сказал я себе, но мне не хватало смелости подойти, намерение было, а сил не было, ни физических, ни душевных. Я стоял и смотрел через дверной проем на письменный стол и гадал, когда же наступит момент подойти к столу, сесть за него и начать работу. Я прислушался, но ничего не услышал. Хотя соседские дома совсем рядом, я не слышал ни звука. Как будто в этот миг всё умерло. Неожиданно это состояние показалось мне приятным, и я попытался растянуть его насколько возможно. Я смог растянуть это состояние на несколько минут и с наслаждением утвердился в мысли, что всё вокруг умерло. А потом внезапно сказал себе: *подойди к письменному столу, сядь и напиши первое предложение. Не осторожно, а решительно!* Но у меня не было на это сил. Я стоял и едва осмеливался вздохнуть. Попытайся я сесть, сразу возникла бы какая-нибудь помеха, стряслось бы что-то непредвиденное: постучат в дверь, крикнет сосед, почтальон потребует моей подписи. Ты должен просто сесть и начать, без раздумий, как во сне, ты должен написать первое предложение сейчас же. Тем вечером, еще с сестрой, я был уверен, что утром, когда она наконец уедет, я смогу начать, просто выбрав из множества начальных фраз работы о Мендельсоне, которые я перебирал, одну-единственную, единственно возможную, а значит, и верную, перенесу ее на бумагу и наберу темп, неуклонно продвигаясь вперед, дальше и дальше. Как только сестра покинет мой дом, я смогу начать, твердил я себе снова и снова и опять чувствовал себя на коне. Как только чудовище сгинет, работа моя родится сама собой, я сведу воедино все идеи, рожденные этой работой, возведу в одну-единственную, в мое произведение. Но вот сестры нет уже больше суток, а я дальше, чем когда-либо, от того, чтобы подступиться к своей работе. Она, моя губительница, всё еще держала меня в своей власти. Она направляла меня и одновременно затемняла мне разум. После смерти нашего отца, через три года после похорон матери, она и вовсе перестала со мной церемониться. Она всегда осознавала свою силу и вместе с тем мою слабость. Этой слабостью она пользовалась всю жизнь. Что касается нашего презрения друг к другу, то оно было взаимным и длилось десятилетиями. Меня тошнит от ее деловитости, ее тошнит от моих фантазий, мне отвратительны ее успехи, ей – мои неудачи. Беда в том, что у нее есть право поселиться в моем доме когда угодно, этот страшный пункт в завещании отца просто ужасает. Она обычно вообще не предупреждает о своем приезде, внезапно появляется и расхаживает по дому так, будто он полностью принадлежит ей, по моему дому, в котором у нее есть лишь *право на проживание*, но это право на проживание пожизненное и не ограничено в площади. И если ей взбредет в голову привезти своих сомнительных друзей, я ничего не смогу с этим поделать. Она заполняет собой весь мой дом, будто он только ее, вытесняя меня, и мне недостает сил сопротивляться, для этого нужен совсем другой характер, я должен бы быть для этого совсем другим человеком. И потом, я никогда не знаю, останется ли она на два дня или на два часа, на четыре или шесть недель или даже на несколько месяцев, потому что ей больше, видите ли, не нравится городская жизнь и она прописала себе деревенский воздух. Когда она говорит *Мой милый младший братик*, меня тошнит. *Мой милый младший братик*, говорит она, *теперь в библиотеке я, а не ты*, и действительно требует, чтобы я немедленно покинул библиотеку, даже если я зашел туда первым или вообще оказался задолго до нее. *Мой милый младший братик, что толку изучать весь этот вздор, ты уже болен от него, почти помещался, жалкий, смешной человек*, сказала она вчера вечером, чтобы задеть меня. *Ты целый*

год болтаешь о Мендельсоне. Ну и где твой ученый труд? сказала она. Ты имеешь дело только с мертвыми, а я – с живыми, вот в чем разница. В моем окружении живые люди, в твоём – только мертвецы. Потому что ты боишься живых, сказала она, потому что ты не желаешь приложить ни малейшего усилия, усилия, которое необходимо приложить, если хотят иметь дело с живыми. Ты сидишь здесь, в своем доме, в сущем склепе, и общаешься только с мертвецами, с матерью и отцом, с нашей несчастной сестрой и с так называемыми великими умами! Это страшно! На самом деле, она права, теперь я думаю, она говорила правду. Со временем я совершенно заблудился в этом склепе, которым стал мой дом. Я встаю рано утром в склепе, целый день бегаю туда-сюда по склепу и поздно ночью укладываюсь спать в склепе. Твой дом! – выкрикнула сестра мне в лицо, – твой склеп! Она права, сказал я себе сейчас, всё, что она говорила, правда, я не общаюсь ни с одной живой душой, даже с соседями порвал все связи; я вообще не выхожу из дома, разве что за продуктами. И почти не получаю писем, так как сам больше никому не пишу. Когда я выбираюсь поесть в ресторан гостиницы, я выбегаю оттуда, едва вошел, едва доел еду, от которой меня тошнит. Выходит, я почти ни с кем больше не разговариваю, и время от времени у меня возникает ощущение, что я уже не умею говорить, что я разучился говорить, неуверенно я делаю речевые упражнения, чтобы определить, могу ли я еще издать хоть звук, так как даже с фрау Кинесбергер большую часть времени я не произношу ни слова. Она хорошо со всем справляется, и я не даю ей никаких указаний, иногда вообще ее не замечаю, и она уходит как пришла. В самом деле, почему я, собственно, отверг предложение сестры поехать к ней в Вену на несколько недель, так грубо, словно мне пришлось парировать злобное оскорбление? В кого я превратился после смерти родителей? – спросил я себя. Я сел в кресло в холле и тут же всем телом ощутил озноб. Дом был не пуст, он был мертв. Это склеп, подумал я. Однако как только здесь появляется кто-то еще, я просто не выдерживаю. Я снова увидел свою сестру в дурном свете. Ничего, кроме издевок и насмешек, у нее для меня не припасено. Она выставляла меня на посмешище постоянно, как только представлялась возможность, перед всеми кем можно. Так, неделю назад, во вторник, когда мы посетили так называемого министра (министра сельского хозяйства и культуры в одном лице!), который полностью реконструировал свою виллу и был мне отвратительнее всех остальных, она сказала во всеуслышание перед гостями в так называемом *синем салоне* (!), *он (то есть я!) уже десять лет пишет книгу о Мендельсоне и не придумал даже первого предложения*. Все эти тупые люди, рассеявшиеся в отвратительно мягких креслах, расхохотались в голос, и один из присутствующих, терапевт из Фёклабрукка, соседнего города, спросил, кто, собственно, такой этот Мендельсон. На что моя сестра, демонически хохоча, исторгла слово *композитор*, что, в свою очередь, вызвало лишь отвратительный смех у этих людей, сплошь миллионеров и тупиц, к тому же затхлых графов и дряхлых баронов, которые из года в год носят провонявшие за десятилетия баварские шорты и наполняют свои убогие дни болтовней об обществе, болезнях и деньгах. Я захотел немедленно покинуть *это общество*, но одного взгляда сестры хватило, чтобы я отказался от своего намерения. Я должен был встать и уйти, думал я теперь, но тогда остался и терпел это ужасное унижение, которое продлилось до глубокой ночи. Нельзя было оставлять сестру одну в этом обществе, которое импонировало ей во всех отношениях, там ведь были сплошь уважаемые люди с огромным, неисчислимым капиталом и со всевозможными захватывающими дух титулами. Наверное, подумал я теперь, она учуяла выгоду, сестра заключала крупнейшие сделки с этими старыми графами и старыми баронами, которые очень часто незадолго до смерти распродавали огромные куски своих огромных владений, чтобы облегчить себе и, естественно, своим наследникам жизнь. Конечно, такой вечер в таком доме и в таком обществе может означать для моей сестры миллионную сделку, для меня это не значит ничего, но, конечно, мне всегда приходится считаться с сестрой. Она закидывает ногу на ногу, выдает старому барону какую-то льстивую и насквозь лживую фразу и тем самым зарабатывает на целый год праздной жизни, подумал я. Уже ребенком сестра обладала невероятно

обостренным деловым чутьем. Я помню, как она обходила каждого гостя и откровенно просила денег, люди находили это оригинальным для ребенка семи-восьми лет, хотя это должно было их отталкивать, как это отталкивало меня. Родители, конечно, запрещали ей это, но она уже тогда не считалась ни с какими родительскими запретами. На том вечере, о котором я только что говорил, она в конце концов убедила так называемого барона Ледерера, который в действительности, насколько мне известно, никакой не барон, пригласить ее в *Бристоль*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.